
МЭЙ ЛИНЬ

КОХЕН, ВРЕМЯ

ОГНЕННАЯ ЦАРИЦА



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л59

Мэй Линь
КОНЕЦ ВРЕМЕН. ОГНЕННАЯ ЦАРИЦА

Любое использование материалов данной книги,
полностью или частично, без разрешения правообладателя
запрещается

Издание подготовлено при участии
литературного агентства «Флоберיום»



Дизайн переплета *Екатерины Климовой*

Мэй Линь.

Л59 Конец времен. Огненная царица : [роман] / Мэй Линь. —
Москва : Издательство АСТ, 2025. — 384 с. — (Врата двух
миров. Фэнтези).

ISBN 978-5-17-171650-9

Ее зовут Ху Фанлань. Она выглядит как человек, но относится к древнему виду демонических существ — лис-оборотней. Испокон веков оборотни подчиняют себе род человеческий, питаясь эманациями людских душ. Но в один прекрасный день буддийский монах открывает в Ху Фанлань бессмертную душу, и она становится почти такой же, как любой человек.

Александр Липинский неожиданно для себя становится носителем тайного знания даосского ордена Стражей, который вот уже тысячелетиями противостоит оборотням. Лисы хотят подчинить себе молодого человека и заставить служить их страшному делу. Если у них получится, человечество окажется на краю гибели.

Но на пути у оборотней становятся юная дочь даосского патриарха Мэй Линь и сама Ху Фанлань. Смогут ли они спасти молодого адепта тайных даосских знаний, а вместе с ним — и весь мир?

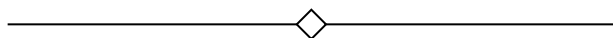
УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Мэй Линь, 2025
© А. Винокуров, перевод, 2025
© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2025

ISBN 978-5-17-171650-9

Затем, что ветру, и орлу,
и сердцу девы нет закона.

А. С. Пушкин. «Езерский»



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЛИСЫ



МОНАХ И БОГИНЯ

Имени своего он так и не сказал...
Всю ночь перед казнью я провела рядом с ним, в камере смертников. Наутро его ждал топор палача, а меня — мучительно долгая, почти бесконечная жизнь.

О чем же говорили мы в ту страшную ночь? Почти ни о чем, и в то же время — о самом важном.

Мы были странной парой — девушка и старый монах в потрепанном желтом халате. Камера, где он ждал казни, тоже была потрепанная, как будто стерлась от сотен узников, прошедших через нее. Мое красное платье было тут единственным ярким пятном, оно изумляло, слепило глаза. Горящий багрянцем ханчжоуский шелк, тончайший золотой рисунок — словно райская птица слетела с небес, а обратно взлететь не смогла, да так и осела на моих плечах, крыльями покрыв руки, а хвостом — спину.

Не для тюрьмы предназначалось это платье, совсем нет: на великосветском балу, в сиянии люстры в тысячу свечей, отраженных мраморным полом, среди изы-

сканных дам и элегантных кавалеров хотела бы я блистать в нем.

Но вместо этого — камера, тьма, ожидание казни...

Правду сказать, это была не совсем камера, скорее небольшая пещера, вся неровная, изъеденная сыростью, с зеленовато-желтыми стенами, поросшими влажным мхом. Обычно здесь держали особо опасных преступников и врагов нашего рода. Многотонная каменная дверь, которую не сдвинуть ни одному человеку, и самые страшные, самые черные наложенные на нее заклятия сторожили выход из этой пещеры. Появись здесь сам патриарх ордена Стражей — даже ему не удалось бы выйти отсюда живым.

Здесь не всегда темно, днем сюда изредка проникает свет. Наверху, под сводами пещеры, еще в начале времен был сделан небольшой пролом, через него солнце заглядывает внутрь. Золотой луч косо ударяет в стену, в нем пляшут искрящиеся пылинки, а мох вокруг начинает гореть и светиться. Вся пещера преображается: кажется, будто изумруды, рубины и бриллианты разбросаны по стенам и горят — красным, голубым, зеленым и желтым. Они горят небывалым, жарким огнем, и кажется, будто попал в сказку.

Но это только кажется.

Едва солнце садится, в камере устанавливается непроглядная темень. Узник нашаривает дрожащими пальцами спички, тревожно кашляя, чиркает ими... И в пещере образуется два источника света: один — оплывшая стеариновая свеча, а второй — бритая голова монаха, отражающая собой эту свечу.

Это единственная роскошь, которую позволяют ему в заключении, — регулярно брить голову.

Он всегда кашляет, зажигая спички. Я думаю, от волнения: боится, что они отсырели и придется сидеть всю ночь в темноте. Ему все равно, ночь или день, но есть еще я, и я не могу сидеть без света, я смертельно боюсь этой темноты, что странно, ведь я сама — порождение тьмы и не должна бояться ничего. Однако здешней тьмы я боюсь, я ее ненавижу, ибо она — сестра смерти, и рано или поздно она его поглотит. Вот почему я могу сидеть здесь только при зажженной свече, вот почему он всякий раз кашляет, и руки его дрожат, когда он чиркает спичками.

Но свеча все-таки загорается. Не сразу, понемногу огонек начинает теплиться и из маленькой светлой точки величиной со спичечную головку разгорается в желтый нервный цветок, мерцающий и отбрасывающий робкие тени на серую скальную породу.

Колеблющийся свет выхватывает из темноты лицо узника. Мощный широкий лоб, тяжелые кустистые брови, орлиный нос, твердо очерченный подбородок — он был бы грозен, этот узник, если бы не глаза, усталые, добрые, светлые. Глаза эти, кажется, способны все понять и все простить. Глаза отца, для которого все люди — дети.

Когда он улыбается, мрак, царящий вокруг, на миг отступает. Я знаю, это он рассеивает его своей улыбкой.

Он совсем не похож на китайца, может быть, потому что вера его пришла из других земель. Ех oriente lux, свет с Востока, говорят христиане. А сюда, в Китай, свет идет с Запада, из Индии. Две тысячи лет назад принесли его хэшаны, буддийские монахи-подвижники. «И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его!» — это тоже про них, подвижников, аскетов, приговоренных...

За этот свет многие из них отдали свои жизни — утонули, переходя глубокие реки, разбились, упав с отвесных скал, насмерть замерзли на горных перевалах, были растерзаны дикими животными, зверски убиты местными князьками, замучены шаманами и колдунами, служившими злым духам, разорваны на части обезумевшими язычниками.

Монах, сидящий в камере, — из числа этих приговоренных. Как и его предшественники, он погибнет за истину. Разница между ними только в том, что мы живем не во II веке от Рождества Христова, а в XXI, и это лишнее доказательство того, что время никуда не идет, а люди не меняются, несмотря ни на что. Прошли тысячелетия — и за веру снова начали убивать.

Умрет и он, умрет очень скоро...

Я сижу рядом с ним на тонкой ветхой подстилке, и меня сотрясает дрожь. Мне холодно и страшно, но я борюсь с собой, борюсь из последних сил. Правда, сил мало — все куда-то делись, когда объявили приговор.

Время от времени, когда отчаяние овладевает душой, я начинаю всхлипывать. Он рассеянно гладит меня по голове, рука у него твердая, шершавая, как у землекопа, и теплая, нежная.

— Не плачь, дитя, — говорит он. — Все проходит, и это пройдет.

Счастье, что в камеру никто не заходит, иначе работы у палача удвоилось бы: предателей у нас не любят. Дело смертных — умирать, наше дело — парить в эмпиреях.

Но мне сейчас все равно. Ничто на свете не имеет значения, кроме усталого человека в ржавых кандалах, сидящего рядом со мной. Глаза его выцвели от старо-

сти, как и халат, лицо морщинистое, коричневатое — средневековая карта не открытых еще земель, но нет для меня на свете лица лучше этого... Доброта и милосердие, любовь и прощение — вот что вижу я в этих глазах.

Их скоро не будет больше, этих глаз. Ни этих глаз, ни этого лица, ни этого человека — ничего. Наступит утро, и я никогда его не увижу, никогда-никогда.

Простые смертные встретят друг друга на небесах, я же не встречу с ним никогда: мои небеса — это ад чудовищ с картин Босха, других у меня нет и не будет. Встретиться с ним мы могли только здесь — на земле, в камере. Мы и встретились. А теперь расстаемся...

Он смотрит на меня, улыбаясь. Я не могу это выдержать: плачу, скулю в голос, как собачонка, прижимаю кулачки к глазам, чтобы ничего не видеть, утыкаясь ему в грудь. Слезы все льются и льются.

До сегодняшней ночи я и не знала, что умею плакать. Я думала, что лишена этой слабости, слишком человеческой, но эта ночь многое открыла мне, слишком многое. Как быстро она проходит, погибельно быстро...

Больше всего на свете я хочу сейчас быть сильной: не обременять его, а поддержать. Пусть смерть его будет легка.

Как странно это звучит, как безумно! Ведь на самом-то деле больше всего на свете я хочу спасти его. Но спасти его нельзя, невозможно.

— Судьба ведет меня, — говорит он непреклонно. — Это тело стало мне тесным, пора перейти на тот берег.

На неровном полу стоит большое белое блюдо, на нем орехи бледной горкой, янтарный стыдливо сморщившийся инжир, солнечная курага и светло-зе-

ленный агатовый изюм. Это все тайком принесла ему я, потому что монахи не едят мяса.

Больше всего он любит орехи. Это у него с детства, когда он часто голодал, а орехи сытные, быстро утоляют голод. Но сегодня он даже не глядит на блюдо. В эту ночь он не ест ничего, только смотрит на меня. А я смотрю на него, чтобы запомнить навсегда, чтобы не забыть.

Это последняя наша ночь; свеча догорит, и новую уже не поставят. До этой ночи было много других, о которых никто не знает. И не было ночи, чтобы я не уговаривала его бежать. И не было ночи, чтобы он не отказался.

— Было бы глупо бежать, — говорит он, и в глазах его поблескивают веселые искорки. — На старости лет судьба подарила мне бесценный подарок — тебя, а если я побегу, они тебя убьют. Тогда к чему все это?

— Мы убежим вместе, — прошу я. — Мы уедем отсюда далеко-далеко, нас никто не отыщет.

Он несогласен, он хмурится.

— Они найдут нас везде, ты же знаешь, найдут и покажут. Мне терять нечего, я ведь и так умру, но ты...

— Мне все равно! — На глазах моих выступают слезы. — Я ничего не боюсь, и я умру, если умрешь ты.

Он качает в ответ головой. Свеча вздрагивает, вздрагивают и тени на стенах, становятся глубже, вытягиваются до потолка.

— Я встретил тебя, и миссия моя исполнена, — говорит он. — Тело мое ты не спасешь, да это и не нужно. Твое дело — спасти человекoв.

Я гляжу на него в растерянности, я напугана.

— Как я могу? — шепчу я. — Ведь я проклята, я чудовище.

— Ты не чудовище, ты красавица, — отвечает он, — спроси кого хочешь.

Глаза его смеются, он делает вид, что не понимает меня.

Я знаю, что говорю, но он знает больше меня.

Люди, глядя на меня, видят юную богиню. Они видят невинную челку, брови вразлет, тревожные, как море, глаза, вздернутый нос, высокие скулы и юношески пухлые губы. Юную Одри Хепберн — вот кого они видят.

Совсем не то вижу я. В зеркале я вижу монстра, которого ношу в себе, — чудовищного, черного, беспощадного.словно гигантский паук выходит на меня из зазеркалья, шевеля ядовитыми жвалами, ища, где бы нанести смертельный удар, и я не могу с ним бороться, потому что чудовище — это я сама, и нет мне спасения.

Но он монах, и он смотрит глубже. Там, в немыслимой глубине, он видит то, чего не вижу я, и даже то, чего и вовсе не может быть. Он видит бессмертную душу, в которую я никогда не верила.

— Бесконечно милосердие Будды, — говорит он. — Все могут быть спасены. Даже боги. Даже голодные духи.

Боги — да. Голодные духи — тоже да. Это все про нас, лучше и не скажешь.

В древности, когда последнее слово было за шаманом, нас считали богами. Маленькие чумазые люди в звериных шкурах корчились возле своих пещер и костров, не смея поднять глаза к небесам. Мы являлись к ним в сиянии молний, в пушечных ударах грома, мы убивали единым словом и даровали жизнь мановением руки. Люди приносили нам кровавые жертвы, молились нам, старались умиловить.

Я помню одного охотника. Смуглый, курносый, безбородый, совсем юный, однажды он увидел меня, когда я купалась в реке. Это была бурная горная река, неглубокая, но свирепая; она стремительно неслась среди валунов, пенилась, рычала и билась в берега. Воды ее были ледяными, любого смертного она поглотила бы в считанные секунды, но я стояла посреди нее, обнаженная и прекрасная, и волны бурлили вокруг, бессильные сдвинуть меня с места. Увидь меня Гесиод, он разглядел бы во мне нимфу, однако что мог знать о нимфах первобытный охотник?

Потрясенный, юноша упал лицом в землю: он принял меня за богиню. Да я и была богиней, других богов они не знали. Я хотела растерзать его за дерзость, за то, что он видел меня обнаженной, но глянула на его спутанные светлые волосы, на дрожащую покрытую смертным потом спину и остановилась. Это был первый раз, когда милосердие коснулось моего сердца.

Он остался в живых, однако уже не был таким, как его соплеменники. Когда другие, наевшись вдоволь жареного мяса, заваливались спать или любиться, он брал в руку два камня, заостренный и круглый, и шел к скале. Он выбивал на ней рисунок. Это был необычный рисунок: он рисовал мой образ, меня — такую, какой я ему запомнилась в день нашей встречи. Он был первобытным художником, никакой техники у него не было и быть не могло, и все же это было искусство, потому что породило его вдохновение. Охотник выбивал рисунок на серой неровной скале по много часов кряду, руки его сводило судорогой, однако он продолжал свое дело.

Сородичи смеялись над ним, но он не обращал на них внимания. Самки, мурча и покачивая бедрами,

пытались привлечь его своими грубыми прелестями. Была среди них одна особенно опасная — рыжая, большегрудая, дерзкая... Но он думал только обо мне, рисовал только меня.

Такая верность поражала воображение, и она заслуживала награды.

В один из дней на стойбище напали охотники из враждебного рода. Все племя было перебито, в живых остался только мой охотник — я лично позаботилась об этом. Придя в себя, он долго оплакивал сородичей, потом соорудил гигантский погребальный костер, а на следующий день отправился далеко на север, и больше я его не видела...

Много позже появились церкви и священнослужители, и вот те же, кто нам молился, называли нас демонами и пошли на нас войной. Это была роковая ошибка, и они ответили за свою дерзость: мы были высшей ступенью эволюции, никто не мог сравниться с нами.

Но хэшан Махаяна — так он себя зовет — открыл новую страницу в нашей истории: он нашел в нас душу. Ну, может быть, не во всех, однако во мне точно.

Когда это случилось, я стала уязвимой. Еще вчера несокрушимая богиня, сегодня я чувствовала себя травинкой на ветру вечности. Я плакала и смеялась, я любила и ненавидела — и это было невозможно вынести. Но это было. И причиной всему стал хэшан Махаяна.

И вот сейчас он сидит рядом на старой ворсистой подстилке и рассеянно гладит меня по руке.

Я помню, как увидела его в первый раз. Каждая секунда той встречи запечатлелась в моей памяти.

Я была в своем чертоге, когда его привели, лежала, откинувшись, на высокой кремовой кушетке, такой

мягкой, что в ней можно было утонуть. Я была полуодета, на мне была туника розового цвета с кружевами на плечах. В руке я держала первое издание «Божественной комедии» Данте — тяжелый в кровавом бархатном переплете том. Кем я хотела быть в тот миг — королевой, махой, распутницей? Я и сама не знала. Знала только, что выгляжу сногшибательно. Зеркала вокруг отражали меня многократно, и этот вид мог помрачить ум любого мужчины.

Но он был не мужчина, а монах.

Он стоял передо мной избитый, окровавленный, на лице его багровели свежие синяки, глаз распух, халат был разорван, однако улыбался он точно так же, как и сейчас. Как будто нет на свете горя, насилия, унижений, нет даже смерти, а всё — только жизнь, любовь и спасение.

— Как твое имя, монах? — спросила я его, спросила сурово и пренебрежительно, ведь он был всего лишь человек.

— У монахов нет имени, — отвечал он. — Мы отреклись от имени, родственников, плотской любви — от всего. Впрочем, если хочешь, зови меня хэшан Махаяна. Хэшан — это и есть монах, а Махаяна...

— Я знаю, что такое Махаяна, — перебила я его.

Мне показалась смешной его важность, а особенно его имя. Я решила осадить его.

— А знаешь ли, хэшан Махаяна, что тысячу лет назад в Тибете монаха с таким же именем, как у тебя, растерзали на части, и только за то, что он проиграл в богословском споре буддисту-индийцу?

Я думала, он испугается, но он лишь улыбнулся.

— Истина не может проиграть, — сказал он спокойно. — Человек может, истина — никогда.